Tatyana Velikanova, interview with Philip Boobbyer, Moscow, January 1998, transcript in Russian and English

ТВ ....гражданина тоталитарного общества, который с одной стороны верит - меня больше даже интересует не тот период, когда мы действовали, а раньше, который я тоже застала, потому что я тоже была и комсомолкой, и верила во все это. И одновременно вера и страх, все вместе, это конечно сложное явление. Современной молодеже это совершенно непонятно. Это то, что называют у Оруэла "двойным мышлением", "двоемыслием". И свойственно это было еще наверное представителям фашистской Германии - там тоже самое было. У них к счастью это было не так долго, а у нас долго - и это очень мучительная коллизия.

У меня - профессорская семья. Отец был член-корреспондент Академии Наук. Намного старше моей матери и много было детей в семье - 7 детей. Родилась я в Москве в 1932 году. Семья была. конечно очень нестандартная - разница между отцом и матерью была в 32 года. Так что отец у меня ровесник Сталина, еще с прошлого века. И он, так сказать, застал все. Был уже взрослым инженером к моменту Революции. И конечно понимал все. Потом уже, задним числом, я понимаю насколько он был осторожен, потому что он с нами ни на какие рискованные темы не говорил. Хотя говорил он очень о многом и о философии, и о математике, и о жизни и обо всем. Но вот самые эти такие моменты никогда не касался. потому что я была в школе комсомолкой, во все верила без сомнений, хотя очень многие вещи видела, что и вранья было много. Но обобщить все это наше поколение немогло, если только у них не было какой-то дополнительной информации. Вот мои ровесники, которые столкнулись с этим раньше, например, родители были посажены и они, так сказать, узнали больше или еще по каким-то причинам уже жизнь видели, они раньше стали понимать что-то. А я очень постипенно, примерно с XX-го Съезда - это 1956-й только. Как бы у меня все объединилось уже, всякие отрицательные наблюдения прошлого соединились. А в те времена вот я помню такой эпизод смешной - была борьба, наверное в 48-м году, за русские приорететы в науке. И вот наша учительница физике вдруг заявляет нам, что мы должны теперь говорить - есть такой закон в физике Джоуэль-Ленса, так вот не Джоуэля-Ленса, а Ленса-Джоуэля будем говорить теперь. Потомучто Джоуэль он англичанин, понятно, а вот Ленс, он хоть и немец, но он был академик в Петербургской Академии, поэтому его вперед - Ленса-Джоуэля закон. Нам это показалось совершенно безобразным, и мы как-то все очень зашумели - было такое выступление против этого. После этого был большой скандал, т.е. меня разбирали где-то там в школе на партийном собрании. Вызвали моих родителей и мой отец, который никогда не был в моей школе и был далек и толком никогда не знал в какм я классе учусь и остальные - такой рассеянный профессор он был. Но тут он очень серьезно, оделся в лучший костюм, в котором он только ходил на защиты докторских диссертаций, и торжественно отправился на это собрание. Это был 48-й, по-моему. Очень мрачно. Т.е. он просчитывал ситуацию гораздо лучше, чем я. Мне казалось, почему вообще такой шум. Потом он мрачно мне сказал, что там меня называли агентом ВВС, хотя я не была тогда никаким агентом и мне это казалось совершенно нелепым.

Ф.: Кстати, Вы слушали ВВС?

- Ну, конечно слушала. Тогда, в те времена, отец уже плохо слышал и глушилки были все время и , тем не менее, я помнюб что я слушала и ему пересказывала. Это было, да. В конце 40-х гг мы уже слушали, но потом-то уже я всегда слушала и ВВС, и "Свобода" позже уже. У меня родители не сидели, но бабушки и дедушки сидели в лагере при Сталине - мать и отец моей матери, оба. И об этом как бы было известно, но мы неумели обобщать,

мы не виделиб что это... Ну да, дед был хороший человек, допустим, он был профессор Римского Права, конечно он никаким врагом народа не был. Но мало ли ошибки какие-то. Ну в общем мы не понимали масштабов, никак. Так что я стала понимать это только очень постепенно, позже, чем многие мои сверстники. Т.е. мало что понимала до XX-го Съезда.

Родители не были членами партии.

Ф.: Вы сами имели представление о лагере, культуре лагеря?

- Нет, это был очень далекий мир. Знала, что деду посылают какие-то посылки, иногда с трудом их собирают и с трудом их посылают. Но, не знаю, наверное считала, что это какое-то недоразуменее.

Ф.: Чем Вы занимались в университете, математикй?

- Да, я кончала матем-й факультет в 54-м году. До 56-го жила на Урале, там в школе преподавалв недолго. Потом мы с мужем вернулись в Москву и я работала 20 лет математиком-программистом. Потом меня посадили и потом я уже стала учителем. Так что что у меня теперь третья специальность: 1-я была программист, 2-я - дисседент, выпускающий "Хронику" (редактор "Хроники") - в основном этим, потому что я конечно работала, но всегда две работы все время получалось.

А проблема, что Вас интересует, это по-моему сложное явление: "каким образом люди и боялись и одновременно верили". И это я не знаю как нужно изучать.

Ф.: Что Вы можете рассказать об этом, исходя из Вашего опыта, потому что Вы тоже верили, но у Вас был какой-то страх перед системой?

- У меня не было страха, но тем не менее все понимали и я тоже, что каких-то вещей не надо говорить в больших компаниях. Это было просто... Я даже не могу объяснить. Но все понимали,что какие-то рискованные анекдоты, критические высказывания, в общем не следует это делать публично. Поэтому для меня, когда в 60-е годы уже начилось такое движение после Хрущевской "оттепели", это была для меня совершенно другая пора - другой воздух стал. Т.е. возможность свободно высказываться это, конеяно, очень много значит.

Ф.: Можете ли вы вспомнить какие-то критические моменты в эти годы для совести, когда, возможно, стояли перед моральным выбором? Был ли это длительный процесс?

- Да нет, я не знаю. Скорее длительный процесс, да. Ну, вот скажем, когда я работала в системе Академии Наук в 60-е годы, там зарплата научных сотрудников была очень маленькая и меня несколько раз приглашали в "почтовый ящик" - так называли закрытые военные институты - "почтовый ящик Ь такой-то". Так и говорили "пошла работать в почтовый ящик". У них всегда зарплата была гораздо больше. Я как всегда колебалась, хотя тогда у меня уже было трое детей. Но что-то меня все время остянавливало, что вот не нодо связываться нм с какой секретностью, что ни к чемй хорошему это все не приведет. Лучше уж как-нибудь так подработать открытым образом. Но это все мелочи. Отказывалась, ни разу я так не работала.

Ф.: Вы сознательно описали себе, что этого не нужно делать? На основе каких-то принципов или это было инстинктивно?

- Ну там, где есть секретность, там обязательно есть что-н. нехорошее. Все плохое делается в темноте. Но не очень я отчетливо это формулировала.

Ф.: И как Вы попали в диссидентские круги? Это было через друзей или случайно?

- Может быть и случайно, но скорее всего закономерно все-таки, потому что очень многие мои друзья оказывались даже сначала не диссидентами, а просто. В 60-е годы это был такой подъем всего - книги выходили, журнал был "Новый Мир", который все читали. Начали переосмысливать всю действительность очень активно. Потом появлялись книги уже самиздата и это тоже был для нас такой чистый воздух. Я помню, что когда я первый раз читала "Раковый Корпус" Солженицина, у кого-то был этот экземпляр, даже несшитый, по листочкам. И вот я пришла по приглашению знакомого в чужой дом и там на большом диване, на стульях сидело много людей и они читали и передавали друг другу листочки. Причем за один раз трудно прочесть и я пришла, допустим, сегодня и, допустим, завтра и мне какая-нибудь 125 страница нужна и вот я ищу где мне сесть, между кем и кем, чтобы у меня как раз получалось.

Переплетать уже стали потом. Сначала их никто не переплетал, потому что можно было давать страницы читать частями. И это был для нас такой период ожидания и раскрепощения. Это было в середине 60-х годов до конца 60-х. В 70-х я уже полностью была в это втянута.

Потом, кроме моих знакомых, у меня был муж, который участвовал в демонстрации 68-го года. И, скажем, вся "Пражская весна", вот то что было до танков, я очень хорошо была в курсе и нам друзья из Праги и Братиславы присылали газеты (напр., Пражская газета "2000 слов"), т.о. мы всегда были в курсе. Переписка у него была с друзьями из Словакии и потом, когда танки ввели, то он участвовал в демонстрации вместе с Ларисой Богораз, Литвиновым, 25 [Августа]. И вот здесь я уже совсем оказалась в центре. Литвинова, напр., я раньше не знала, Богораз знала немного. Я была на процессе, в качестве свидетеля. Потом моя сестра была и мама была. Они тогда записывали все. Тогда еще пустили много родственников. Нужно было потом это все расшифровывать, приводить в вид и публиковать. Я как раз оказалась в цеитре всех людей, которыевсем этим занималась, с Горбаневской тогда познакомилась. Первый раз я ееувидела только на площади,когда она с детем пришла с коляской. И потом я вот так постепенно обрела целый круг друзей, которые готовы были что-то делать. Тут тоже все постепенно люди втягивались и находили в этом ну какое-то свое освобождение, личное. Вот и с Ковалевым я тогда же в 68-м г познакомилась, с Александром Павлович Лавут в том же году я познакомилась.

Ф.: Что для Вас лично значило "внутреннее освобождение"?

Что я могу теперь абсолютно открыто заявлять о своих взглядах и обо всем, что думаю. Поскольку я уже себя объявила вот в таком качестве человека, то мне уже абсолютно некого было не опасаться, ничего. Хотя вот тут возникала проблема, которая касается Вашей темы. Если я о чем-то рассказываю, то я человека втягиваю в этот мир и этот мир для него еще очень опасен: за это сажают, выгоняют с работы и т.д. Таким образом, ты берешь на себя ответственность за этого человека. Т.е. получалось теперь так, что сильным, пусть это даже враг, ну даже не враг, а просто человек противоположных убеждений, я ему теперь могу говорить все и свободно. А вот наоборот, людям, которых я могу жалеть и при этом уважать, я должна опасаться. Или молодым ребятам, так же как когда-то мой папа оберегал меня от некоторой информации, чтобы я сильно не завелась. Потому что меня бы тогда точно посадили бы на 30 лет раньше, если бы отец мне рассказывал все то, что он знал и понимал.

Возникала проблема ответственности за другого человека, особенно когда разговаривали с молодежью. Вот у меня сестра намного младше меня. И вот я еду с ее классом в турпоход в лес с палатками, и вот они меня начинают спрашивать и тут у меня и возникает проблема, что вот могу я все, как я думаю и как я понимаю говорить этим детям. 15-16-

тние подростки - совсем еще дети. И действительно были такие неприятности, когда молодой человек в это сам рвался, а потом оказывалось, что папа генерал пошел в университет на факультет - ну, в общем, была неприятность некоторая. Вот один из аспектов, моментов совести.

Ф.: Ну, наверное, Вы можете сказать, что у Вас была более тонкая совестьPh.:

- Я бы так не сказала, обычная.

Ф.: Откуда это появилось у Вас, что это было важно для Вас, но не для другого человекаPh.:

- Для всех было важно, но, понимаете, люди живут в обществе, он же не один. У него есть семья, сотрудники в лаборатории. Возникает круговая порука - вот самый острый момент. Вы, наверное знаете историю о том, как Сергея Ковалева выгоняли из университета. Для меня это был как раз очень сильный момент и Вам это может быть интересно. Значит, была лаборатория биологии с математикой, где Гельфант - крупный математик - был руководителем. Лаборатория очень сильная, сотрудники - все друзья, единомышленники. И там работали Ковалев Сергей Адамович и Алксандр Павлович Лавут, его друг. Тот - математик, а Ковалев - биолог. И вот Ковалев и Лавут вступают в инициативную группу защиты прав человека, весна 69-го. Дальше возникает какой-то там шум наверху и становится известно, что состоится собрание факультета партийной верхушки и что будут их обсуждать и выгонять. Но как бы есть выход, если они уйдут сами раньше, то никакого этого разбора не будет. Вот ходит Ковалев и мучается, что делать. Но он готов за свою деятельность, за то, что он вступил в инициативную группу, отвечать, объяснять - пожалуйста. Лавут - тоже. Но это чревато разными последствиями для лаборатории - для всех. И вот к нему подходит один, другой, третий - все по одному. Это мне Ковалев тогда рассказывал. Вот друзья его, сотрудники, единомышленники. И говорят: "В какое ты нас ставишь положениеPh.: Тебя будут обсуждать. Если мы будем защищать тебя, то это будет разгон лаборатории, это уже известно. Снимут Гельфанта и лаборатория закроется." И "у этого там тема диссертация проподает, у того - квартира обещается, но ничего не будет. Но главное не будет лаборатории. Это если мы тебя поддержим, а вот если мы будем выступать против, то какие же мы мерзавцы." "Зачем же ты нас ставишь перед таким выбором?" Это и есть круговая порука, как мы говорим в русском языке - это когда все отвечают за одного. Они отвечают либо своей судьбой, либо своим имуществом. И из-за тебя пострадают дкугие и ты это знаешь - вот это и есть круговая порука. Так же, как когда у нас в России была сельская община, то вся община отвечала за кого-то.

Ф.: "Типичный коммунистический подход."

И вот они все так подходили и говорили ему: "Вот ты нас ставишь перед таким выбором: либо мы все негодяи и мерзавцы, либо разгоняется вся лаборатория." В конце концов, они написали это заявление уйти по собственному желанию, т.е. увольняются сами в пятницу вечером. Перед этим еще сам Гельфант с ними разговаривал. Он считается первым математиком мира, очень известный ученный. Он тоже им говорил: "Сережа, в какое ты положение меня ставишьPh.: Мое положение в этой лаборатории тоже непрочное и более того, не только я, но и Петровский, ректор, тоже может пострадать от этого." Все посьрадают, в общем-то. от Ковалева. И они написали заявление и потом пришли в гости ко мне, советоваться и сообщить. И я им говорю: "По-моему вы сделали неправильно, надо людей ставить перед выбором иногда. Но что теперь делать. Ну тяжелый случай, но нужно." И они решили, что заявление они возьмут назад и я специально ездила в субботу к какому-то адвокату, чтобы узнать можно ли взять. И мне

объяснили, что если еще нет приказа об увольнении, то заявление забрать можно, пока нет приказа директора или ректора. Резолюция идет к директору, скажем, а ето уже идет секретарю и приказ вешается, что с такого-то числа такого-то человека увольняют. Это приказ называется. Но тем не менее, когда они пришли утром в понедельник, то приказ уже висел. Т.е. уже было ясно, что ничего сделать было нельзя. Просто тут же сделали этот приказ, все заготовили. Вот эо для меня была очень инересная исория, она нас сильно взволновала. Потому что это действительно проблема для каждого человекаю И получается так, что ведь человек не в ввакуме живет и все вокруг него всегда есть кто-то, за кого он опасается. И вот, что делать в такой ситуации - действовать по совести или, опять же, по совести, боясь за своих близских или защищая своих друзей.

Ф.: Вы и сами были в таких ситуациях в плане своих детей.

- Видети ли, я была уверена, что не тронут моих детей. Деи и ак страдали, что меня дома не было совершенно. Я занималась не ими, а ... Они были уже старшими школьниками, но все равно я им мало уделяла внимания.

Однажды исключили моего сына из института. Он дал всевозможные поводы - пропустил много занятий по военной кафедре. И его исключаю из универсиета. Идет мой друг, знакомый ректора просить. Тот говорит: "Ну, конечно, можно восстановить." Потом смотрит фамилию и говорит: "Нет, этого мальчика я восстановить не могу. Вот другого можно." Т.е. тут нельзя сказать,что выгнали из-за меня, он сам хорош был. Но, конечно, связь есть вот такая вот.

Ф.: Ну почему Вы считали, что иногда перед людьми нужно ставиь выборФ.:

- Потому что само явление круговой поруки, заложничество (hostage) - это были основные приемы, может быть не совсем в те старые времена, когда они были еще более жестче. А здесь на первый план вот это все встало и мне это было всегда отвратительно. Были ж случаи. Вот сидит Григоренко Петр Семенович в психиатрической больнице, сидит Наташа Горбаневская в Казане в психиатрической больнице. Обращаются к Ларисе Богораз, чтобы она написала просьбу о помиловании себя. За себя, не за них, и тогда их там выпустят по этапам суда. Это абсолютно незаконно. но каким образом она может просить, не проить за себя и какое это имеет отношение к другим. И такие методы КГБ применяло постоянно.

У нас было специальное письмо инициативной группы о заложничестве. Оно у меня есть, но сейчас это долго будет искать в архиве. Это должно быть в сборнике "Письма инициативной группы". Это в период, когда сидел Петр Якир и Виктор Красин в начале 72-го года-конец 71-го. Прекратилась "Хроника" временно. Примерно пол года не выходила. ПочемуФ.: Вот они заявляли через каких-то лиц. Вот ко мне, напр., никогда не обращался представитель госбезопасности с таким предложением и ни к кому из моих друзей. Тем не менее, кто-то из моих знакомых говорит, что вот ему стало известно, что если выйдет еще один номер "Хроники", то посадят такого, такого и такого, независимо от того, кто ее будет выпускать. Вот в частности такая угроза была на Анатолия Якобзона. Много таких было, вот если сделаете, то будет вот так и наоборот, если вы прекратите что-нибудь такое, то кого-то может быть освободят или переведут из психиатрической тюрьмы в психиатрическую обычную больницу. Вот проблема, на самом деле, когда нужно решать идти ли на их сговор, на их условия. И иногда вопрос идет о жизни или смерти, как, напр., у Марченко. Иногда идет вопрос о посадке: посадят в тюрьму или нет. Иногда просто с работы выгонят, но это уже не мы говорим о меньших вещах. Но тем не менее, всегда получается, что нужно идти на эти компромиссы или их сговоры. Вот моя была точка зрения, что никогда нельзя. Хотя, когда стоит вопрос о жизни или смерти, тогда человек

уже сам решает. Но уже само по себе это явление настолько омерзительное, что нельзя в этом участвовать. Вот такие проблемы были и перед нами ставят вопрос - вот вы выпустите "Хронику" и кого-то посадят и не вас, а кого-то. И вот эти их методы меня настолько тогда возмущали, что я поняла, что я с ними никаких дел не могу иметь. Я же не участвовала ни в следствии, ни в суде нигде. Ни одной бумажки не подписала никогда.

Ф.: Это было инстинктивное отношение ко всему этому?

- Ну нет, как же, ведь мы об этом уже говорили. Понятно что такое заложничество, что такое ...

Ф.: Мне кажется, что когда человек вступает в компромисс, что что-то меняется в нем. И может быть Вы видели вот этот распад у людей, что происходит с таким человеком. Почему Вы сделали такие выводы?

- Конечно видела, что стало с Якиром, что стало с Красиным. Еще были люди, которые пытались не очень, но все-таки дать какие-то заверения, что "я так больше не буду, отпустите меня". Конечно меняется человек. Но это же такой на самом деле самообман. Человек начинает задним числом искать мотивы для оправдания своих действий. Как это называется в психологии, есть такой даже термин. Конечно видела, многое такое видела. Но мне кажется, что не из-за того, что я это увидела, что я так стала. Мне кажется я всегда так... Мне всегда это было отвратительно.

Ф.: Александр Гинзбург мне сказал, когда я с ним разговаривал, что у многих диссидентов была внутренняя борьба перед страхом. Но для разных это было более естественным процессом и просто была отвратительна вся эта система и это был такой естественный процесс.

- Да, наверное это так. Даже когда начался период Горбачева в 87-м и начали освобождать политзаключенных и, все-таки, они не отказались от своих методов. Они каждому сидящему в ссылке или лагере предлогали написать заявление. Знаете эту историю, да? Это страшно и смешно. Приезжает ко мне областной прокурор в ссылку. Есть у нас районный прокурор, это местный, а есть областной. Так вот этот областной приезжает в наш поселок и этот освобождает кабинет, секретарша вносит чай с печеньем. И тот так мягко начинает: "Татьяна Михайловна и не надоело ли Вам тут сидеть, не хватит ли? Как Вы относитесь вообще к тому, что реформы начались, Горбачев?" "Хорошо",- говорю. "Ну вот, напишите, пожалуйса, чо во "прошу меня освободиь из ссылки". Вы же не оказались о своих убеждений? " Я говорю нет. "Ну вот и напишите, что "я остаюсь при своих убеждениях, что убеждения я свои не изменила. Не считаю, что нарушала законы..." В общем, все напишите, как Вы думаете и просто напишите "прошу меня освободить из ссылки".

И так мне противно это все стало. И я говорю: "Ведь вы же все это делали, не я. То, что вы делали, вы своими же руками и исправляйте. Я не хочу в этом участвовать ни в каком месте, ни в какой момент времени". И он уехал. Потом приезжает через 10 дней уже более такой, сырой, но он опять уже начинает тоже самое все. Уговаривает, уговаривает - часа полтора. После говорит: "Ну, хорошо, придеться сосавить акт, протокол о том, что Вы отказались от помилования." Я говорю: "О, вот Вы это слово и произнесли!" Помилование это уже, когда осужденного человека милуют. И я отказалась. Потом проходит почти год и в декабре уже все равно был акт о помиловании. Ни я не писала, ни мои родственники, никто не писал. Все равно был этот указ Президиума Верховного Совета о помиловании. Меня и Лену Санникову есть такая, тоже ничего не писала, и нас в последнюю очередь нас помиловали. Я говорю: "Не хочу я Вашего помилования и я отсюда не уеду." А он говорит:

"Вот придите за паспортом." А у меня был не паспорт", а удостоверение ссыльного, бумажка такая. И я говорю: "Не пойду, не буду я брать паспорт, буду дальше так жить и работать." У меня там еще оставалось около года - 10 месяцев. Но они меня все-таки вынудили паспорт взять, потому что на почте не дают заказную почту. А уже давали всегда, даже без всяких документов. Меня знали уже на почте хорошо. На работе говорят: "Зарплату - паспорт." Пришлось паспорт взять. Но так я там еще пол года пожила, а потом все-таки приехала, по всяким семеным обстоятельствам решила мне нужно было быть в Москве. Так, что я 2 месяца не досидела свой срок.

Но вот даже в такой мелочи, уже освободили бы, так освободили. Нет, им нужно оформить это как помилование. А потом в "Известиях" была такая маленькая заметочка, что вот "группа так называемых диссидентов, ну в общем, осужденных за антисоветскую деятельность, освобождены в связи с помилованием и признали...", в общем, там было как-то. Хорошо, что я ничего не написала. Гнусно это все было очень.

Ф.: Связаны с инициативной группой. Вы говорили,что вы между собой говорили об этих вещах. Вы можете вспомнить примеры вот таких разговоров? Как это было? Вот вы просто сидели за столом и начинали эти разговоры? Что-нибудь о нравственной культуре зтой группы? Как это было?

- Ну, конечно, за столом у кого-нибудь на кухне, за чаем, может быть. Напр., нам сообщалось какая-то острая и свежая информация. Вот, напр., кто-то узнал, что должны посадить такого-то человека, который я знаю, что никакого отношения в данный момент к "Хронике" не имеет. И вот, что нам делать: выпускать или нет. Все это обсуждали. На самом деле мы все друзьями были. Вот эта форма жизни нашей сделала так, что мы все стали очень большими друзьями. Потом же нас мало было. Сначала в инициативной группе было 15А потом уже посажали очень много и всех не москвичей - сразу посадили. Так что, остались москвичи, а потом осталось уже еще меньше и еще меньше. Сажали постепенно. Наташу Горбаневскую - в 69-м, Якира - в 72-м. Многих, в общем, посадили. Так что, нас стало мало и мы уже совсем стали тесной группой такой.

Ф.: Это значит, что Вы посещали друг друга дома, ходили вместе в театр может быть?

- В театр мы не ходили, нам было не до театра.

Ф.: Но это была маленькая группа друзей, в конце концов?

- Да, но и в горы или в лес я уже почти перестала ездить. Вот эти 70-е годы это такая напряженная уже все время жизнь, что было не до отпуска совершенно.

Ф.: У кого вы больше всего встречались? В чьей кухне?

- Было довольно много домов таких, в которых встречалось много всяких диссидентов, где и обмен книжками, и словами, всякой информации... все это было. Это одно, это было довольно много таких, не знаю. Для меня это было десятка-полтора домов таких. Но, если речь шла, напр., о выпуске журнала "Хроники", тогда это уже совсем другое дело. Тогдаэто обычно место, о котором никто не знал, по крайней мере, мы старались, чтобы туда не пришли, пока мы делаем. Вот большое было обсуждение именно в этом плане - заложничества, совести - когда пол года (даже дольше) "Хроника" не выходила после ареста Якира. И в 74-м весной вышли сразу 4 номера за все прошедшее время, по пол года интервалами. В общем, как раз было большое обсуждение, опять все эти угрозы, они все время присутствовали, что из-за меня могут посадить кого-то - эта проблема все время оставалась. И мы решили, что нельзя идти на это и сделали сразу несколько номеров,

материал-то весь копился в больших количествах. И потом по всем этим станциям передавали, когда меня потом посадили.

Ф.: Когда?

- Меня один раз, в 79-м году меня посадили, 4 года у меня был срок и 5 ссылки. В 83 меня повезли на ссылку, а в 88-м я должна была освободиться. Но освободилась на 2 месяца раньше.

Ф.: Где Вы были в ссылке?

- В Казахстане.

И вот тогда я помню была очень яркая реакция. Было заявление перед этим - мое, Ковалева и Ходарович Татьяны о том, что "Хроника" будет выходить и что мы трое берем на себя ответственность за ее распространение. Мы не считаем ее никаким там ни подпольным, ни криминальным изданием. Мы не брали на себя ответственности редакторства. Это как бы было принципиально еще со времен Наташи, что редакторами объявлять нельзя себя, ну, во-первых, потому что в ней участвовало очень много людей на самом деле на разных этапах: сбор информации, привозили, редактировали и наконец уже выпускали. Во-первых, потому что людей было много и значит много на себя чести брать не хотелось. А второе, что... Ну, допустим, тебя посадят и придет кто-то другой. Значит я себя объявляла редактором, а следующий тоже значит должен объявить себя редактором. Мы считали, что это было довольно принципиально и Наташа Горбаневская тоже считала, что издание "Хроники" выходит анонимно. Но при этом мы всегда считали, что это не подпольное издание, а мы открыто ее распространяем. Но делали конечно неоткрыто, иначе просто ни одного номера не пришлось бы выпустить. Поэтому шли на всякие ухищрения. Я из дома уходила на 3-4 дня. Где-то мы сидим и сразу это все побыстрее делаем, чтобы потом все это не таскать по улице бумажки. Дети мои говорят, когда кто-нибудь звонит, "мама придет поздно вечером" и так каждый день, три дня - "придет поздно вечером". Поскольку, иначе будет всякая слежка.

Ф.: В 68-м году, я вот читал речь Богоразова, что надо говорить правду даже тогда, когда это не будет эффективно. Это была сильная речь. И Горбаневская мне сказала, что были разные демонстрации, которые пробовали убеждать тех, кто организовывал их, что это не эффективно и т.д. У меня создается впечатление, что были разногласия в тот момент, "что делать" и были как бы моральные аспекты этих разговоров. Вы не помните это?

- Ну, конечно помню. Во-первых, помню разговор накануне демонстрации в доме Якира. Это уже просто было некоторое количество людей, которые сами, в принципе, могли пойти. Были мнения разные. Вот то, что Вы говорите, что может быть неэффективно. А кроме того, когда еще только назревали эти события Чешские, ввод войск, уже тогда было много разговоров. Я помню письмо Марченко, оно было еще до ввода войск, о том, что нагнетается обстановка и что социализм с человеческим лицом хотят наши Советские власти задавить как-то. Тоже очень сильное было письмо.

Потом объявили о вводе войск. Через день-два во всех институтах, заводах, повсюду проводились митинги в поддержку этой акции. И вот тут было совершенно замечательно. Мой муж работал в Институте Русского Языка, а там много человек участвовало в разных открытых письмах, еще когда был процесс Синявского и Даниэля. Этих людей называли "подписанты". А более принебрежительно - "подписанцы" - суффикс такой русский. В последствии их потом всех постепенно выгнали. Но это были ученные, научные сотрудники, младшие и старшие, доктора. Так что выгнать их просто так нельзя было, а у нас такой порядок был по конкурсу. Вот для младшего научного сотрудника - три года

конкурса, если он занимает эту должность, то в конце этих трех лет, по новому конкурсу он может не пройти. Так что спустя 3-4 года, а для старших научных сотрудников этот срок был 5 лет, их всех 17 человек - это был маленький институт. Так что, было много людей, настроенных очень сочуственно диссидентам, или так скажем, нашего круга, наших убеждений.

И вот проводится этот митинг, как и во многих других местах тогда проводили, и я в этот день оказалась не у себя в институте, а у меня был како-то библиотечный день (называется свободный), а в Институте Русского Языка, там, где мой муж работал. Я пришла именно потому что там должно было быть это собрание.

Ф.: Как Вашего мужа звали?

- Бабитский Константин. Он был научным сотрудником в Институте Русского Языка.

Так вот, обстановка в день этого собрания. Вы понимаете, людей всех собирают и они все должны проголосовать за этот ввод войск. В Институте Русского Языка проголосовало против трое и трое воздержались - это значит ни за, ни против. Против резолюции. Зачитываются там какие-то слова, а потом зачитывается сама резолюция, что "мы поддерживаем интернациональную помощь..." И вот за это поддерживаем. Так вот против проголосовало 3-4 человека и примерно столько же воздержались, т.е. отказались голосовать.

Ф.: Все другие "за", это сколько примерно?

- Не знаю, сто, или 80. Не помню, небольшой институт. Не знаю сколько точно. Вот понимаете, как людей испытывают на их совесть. Ведь из этих 80, но может быть человек 15 было таких коммунистов "за" действительно. Остальные просто, ну что ж делать - надо и все. Те, кто проголосовали против им было предложено объяснить свою позиййю и они все объясняли. Был такой профессор там Леня Косаткин - объяснял, он фронтовик, участник Великой Отечественной Войны. Говорил, что сейчас стыдно за то, что наша армия сейчас делает. И это было все по комнатам, по кабинетом, перед самым митингом это все обсуждалось. Кто-то кого-то уговаривал не делать этого - это я помню просто. Вокруг моего мужа говорили, что не надо это все делать. А многие, напр., уходили. Просто не пришли на работу и все, чтобы не голосовать. И между прочим это такой прием очень был распространенный. Такая тактика - просто не появляться. Я знаю, что когда академики подписывали письмо против Сахарова, по-моему, то несколько академиков либо они больными были, либо еще там что-то. А про одного мне говорили,что он должен был ехать в Париж на какой-то конгресс самолетом, допустим, завтра, а он уезжает поездом сегодня. И завтра егол нету. Короче на день раньше, иначе и в больницу принесут, если болеет.

Знаете, даже в мелких вещах, напр., участие в выборах, которые абсолютно бесмысленны были наши выборы, и то люди боялись не участвовать. Потому что там в какое-то сталинское время это просто посадят, а в уже после сталинское время уже не посадят, но тоже обязательно будут неприятности. Представляете, как проходили выборы в каком-нибудь там 49-48 году. Вот есть молодые агитаторы, которые обычно отвечают на участки за какой-то дом, каждый за свой дом, и они должны всех обходить, обходить, пока всех не собирут, потому что участие было 99% из 100. Все должны были участвовать. Я помню, что у меня был друг, студент исторического факультета, и он как раз участвовал в этой .... и Мы собирались с ним пойти куда-то в воскресенье, но не получилось, потому что целый день он гонялся за каким-то алкоголиком, который должен был прийти на выборы, но не пришел. Соседи или родственники сказали, что он уехал в деревню к родственникам.

Значит, машину давали и мой приятель поехал в близскую подмосковную деревню, там оказалось, что ушел он в соседнюю деревню на какую-то свадьбу. Короче, около 12 ночи он его привез пьяного.

Понимаете, это настолько надо было всех заставить голосовать, что большинство, невидя в этом никакого смысла, тем не менее ходили - ну зачем же к тебе будут целый день ходить и потом еще будут неприятности. И я вот на эти выборы не ходила с 56 года именно потому, что это абсолютно бесмысленная вещь, фальшивая, ложная. Так вот, первый раз, когда я не пошла, это ходили целый день. Сначала приходили эти девочки, мальчики, потом уже старше чином. Страшное дело. Потом меня умоляет свекровь, мать моего мужа: "Слушай, ну что тебе стоит. Пойди. У тебя двое детей - что будет, что будет?" Со всех сторон нажимают. Так что нужно было выдерживать целую неприятную...

Ф.: Вы были просто таким упрямым человеком или это было после разговоров? Почему Вы, как самая сильная выступили?

- Другие не хотели связываться просто. А вранье же очень противное. Это же было абсолютное вранье, бессмыслица. Тратяться на это большие, вообще-то, средства. Столько людей в это во все втягивается, эти избирательные участки. ПРтивно очень стало.

Ф.: Был ли религиозный момент в Ваших взглядах?

- В данной ситуации нет, но вообще я человек верующий. В данной ситуации какая разница, верующий, неверующий - все равно было противно.

Ф.: Вы всегда были верующей?

- Нет, постепенно к этому пришла.

Ф.: И это имело влияние на Ваши действия?

- По-моему нет.

Ф.: У меня сложилось впечатление, что Наталья Горбаневская сказала мне, что были религиозные моменты в ее поведении. Также Лариса Богораз. Можно сказать, что не в зримом смысле, религиозный момент был очень важен в культуре инициативной группы и вот демонстраций?

- Наверное да. Знаете, в каком смысле? Ведь это же религиозный момент, ощущениечто всякая гадость и всякий, совершенный тобою грех, он всегда как-то дальше будет иметь последствия. В этом смысле - да. Это ощущение связано, это религиозное ощущение, что все имеет последствие и плохое тоже, независимо от того, видят тебя в это время, не видят, узнают про это, не узнают.

Ф.: Были моменты, когда Вы врали и говорили себе, чтол никогда больше не будете?

- Да, конечно, но в таких вот в серьезных вещах я не помню, а в мелочах конечно это было. Неловко, когда врут. Поэтому у нас было много всегда разговоров как вести себя на следствии. Можно ли врать таким людям, которые сами врут. У меня всегда было совершенно точное ощущение, что нельзя врать. Но поскольку правду говорить тоже нельзя во многих случаях, то значит нельзя с ними разговаривать. Вот и все. По-моему очень простой вывод. И на этот счет было много споров. Разные были точки зрения, что ненужно вот так упираться и можно говорить то, что никому не повредит. Никогда это не работает. Тебе кажется, что это никому не повредит, а потом оказывается, что эти слова используются как угодно - ведь они же еще абсолютно бессовестно использовались, выдергивались. Цитаты... Ну конечно, мои слова кому-то подставят не в таком контексте и будет совершенное безобразие.

Ф.: Это было общепринято - тактика молчания. Мне многие говорили,что лучше было не отвечать на вопросы. Это было общепринято или зависит от людей?

- Нет, общепринятой не была, но у многих было, да. Но по-разному было. Скажем, я так себя вела и еще несколько человек. Но Сергей Адаамович Ковалев - самый сейчас уважаемый из диссидентов и вообще к нему всегда было уважение. Он к этому подходил как научный работник. Он проанализировал все предъявленные ему обвинения, факты, очень скрупулезно, как научную работу сделал и получил очень интересные выводы, данные по фактам, приведенных в "Хронике". Не фактам, а эпизодам, приведенных в "Хронике", которых он подсчитал, допустим, в тех номерах, которые ему предъявлялись, не помню сейчас точно, по-моему 700. Из них, как бы бездоказательно оказалось там, числа не помню, но примерно, скажем 13 - бездоказательно и с ошибками - 4. Получалось, что при тех наших возможностях проверки, у нас не было почти возможности проверять, нам привозили информацию со всех концов Советского Союза з разных эпизодах нарушения человека. И проверить это, послать какого-то своего корреспондента, как это делается это в приличных газетах, созваниться - не было никакой возможности. Потом часто информация была написана так, что легко было ошибиться в фамилиях и именах. Как потом мы говорили у нгас была ошибка в "Хронике". Мы печатали потом исправления ошибок в следующих номерах. Так вот самой главной ошибкой была, когда мы сильно смеялись и говорили "ошибка века", когда было написано про какого-то сидящего в лагере, что он был председателем колхоза в свое время, литовец. А оказалось потом, что он убил председателя колхоза. И мы напечатали опровержение. Надо сказать,что такой эпизод не предъявляли на процессах Ковалева, моем, там, кому предъявляли "Хроники" в качестве объявления.

Ф.: Когда Вы сидели, были ли моменты, связанные с совестью, которые были очень важные?

- Да, нет. Когда сидишь уже очень легкая позиция. Никакого КГБ нету, никакой ответственности за других нет - все очень просто. Они к нам туда и не ходили, КГБ.

Ф.: У меня есть впечатление от разных мемуаров, что время в тюрьме иногда было важным духовным моментом. Для Вас это был богатый опыт или неособенно?

- Да, но только за счет... Нет я бы не сказала, что очень. За счет просто хороших людей, которых я не знала. Я не знала Ратушинскую - узнала, Ядвига Беляускими - литовка, деятельница Лит. католической церкви, такая очень активная, замечательная женщина. Много разных людей, с которыми я раньше не встречалась. Верующие у нас, их оставалось только 4 у нас, бабушки - мы их называли. Это называется истинные православные христиане - ИПХ, которые отвергали Советскую церковь, считали, что Советская власть это власть Сатаны и что, если церковь с ними сотрудничает официально, то с ними нельзя иметь дела. Они сидели. Две сидели уже по 20 лет, а 2 - по 30 лет, уже старые были. Сейчас их никого уже нет. Простые довольно женщины, без образования, но упорные и просто железные. Они рассказывали как сидели еще в сталинское время. Сейчас их уже особенно не трогали, они были пенсионного возраста и их не заставляли работать, т.е. они сидели и молились и ничего не делали. А в те времена их заставляли работать и они не работали - на эту власть нельзя работать, поэтому все время карцер. Т.е. они там простуженные насквозь, сердечницы. Потом выходит, напр., она, кончился срок 10 лет. Она не берет паспорта, документы. Без документов она не может оттуда выехать никуда. Потом вообще без паспорта посадят - у нас был жесткий паспортный режим: нет паспорта - посадят. Паспорт они не брали, справку об освобождении - тоже никогда не брали.

Дальше такой у меня разговор смешной происходит. Вот вышла одна, кончился у нее срок, где-то там в Иркуте, на севере. И ничего у нее нет, ни денег - ведь в лагере они не работали. И работать на эту власть они не могут, и документов нет. И она идет няней к ребенку у офицера охраны. Я говорю: "Послушай, значит работать на Советскую власть ты не можешь, напр., пойти в детский сад работать с детьми. Это нельзя, а идти к охранику нянчить его ребенка - можно?" "На людей работать можно, - она говорит, - а на эту власть - нельзя." Если идти в детсад или уборщицей, то это официальная работа. От Советской власти денег получать нельзя. "Потом, - она говорит, - они меня как-то привезли." Эта офицерская семья ее вывезли с севера и она опять ушла куда-то в бега, потому что ходили они по деревням. В общем, совершенно страшную они себе жизнь выбрали. Потом опять их сожали. Я как-то говорю: " Что ты все Ленин, Лени. А чем Сталин лучше?" "Что ты, Сталин - обыкновенный злодей, а Ленин - Сатана. Он искушал Добро Злом."
Конечно, вот таких людей я тут не встречала. Хотя многих встречала здесь. Ко мне приезжали и пятидесятники, и бабтисты, но, как правило, это все было связано с нашей деятельностью, с "Хроникой". Тоже много разных встречала я, но не этих. Так они бы никогда и не обратились бы. Это же совсем другая позиция. Понимаете, мы же все-таки все время ориентировались на закон. Мы хотели добиться, чтобы закон выполнялся во всех отношениях. Поэтому те бабтисты, пятидесятники, адвентисты 7-го дня приезжали - они живут в миру, работают, семьи у них есть. Поэтому, если идет какое-то нарушение, напр., общины их разгоняли, то они хотят восстановить справедливость по закону - и это наша позиция и они к нам обращаются и мы пытаемся им помочь. А те, кто совсем это все отвергает, как эти бабушки, естественно у меня не было случая с ними встретиться на воле.

Ф.: Были ли книги, которые влияли на Вас и из русской лит-ры, и из самоиздата?

- Да, конечно, но у меня такое впечатление, что как бы мы уже в 60-е годы искали эти книги, поэтому каждую книгу мы брали как то самое, что нам нужно. Причем мы ведь много читали самой разной лит-ры. Стихи стали выходить, которые не печатались, тех поэтов до этого мы не знали. Прозу Платонова, скажем, все читали в самиздате. В это же время - философские вещи. Я только тогда прочла "Вехи" (сборник)только вот в 63-64 году. Солженицын, конечно, тоже очень сильное влияние оказал с самого начала.

Это уже был наш образ жизни и его потом уже никак нельзя было переминить. В круг людей-единомышленников, которые становились очень близкими друзьями. Это были не просто друзья, у меня есть еще друзья со школы, но это вот немного другое. Потому что здесь мы всегда были связаны одним делом и одной опасностью.

А вот по поводу совести еще один эпизод, но я только имен не буду называть. Один из моих друзей приходит вот с такими глазами и говорит: "У меня есть друг и я его знаю больше 20 лет. Он - кристально чист, просто наша совесть. И вдруг мне говорят, что он в свое время был стукачем. Молодой он тогда совсем был и в сталинское время довал инфо на такую-то группу тоже таких же молодых ребят, которых посадили всех. Мало того, что посадили, троих - расстреляли, молодых 18-ти летних мальчиков. И остальным дали сроки большие. И у меня не может никак это укладываться в голове, что он, этот человек, мог...." Я говорю: "Ну, а ты спроси его. Что же делать, надо узнавать." Тот говорит: "Да, это все было так." Но, понимаете, как это все было. Ведь он не был таким убежденным осведомителем-стукачем. Это было так, что он был в этом кружке ребят, где они обсуждали там какую-то философию, давлению на критику, ну, в общем, таких много было. Потом в какой-то момент они попали в поле зрения гос безопасности. Про них уже что-то такое знали уже. Этого вызвали и продемонстрировали, что они знают все про этих,

и что у гос безопасности нет намерения их сажать. Их нужно как-то от этой деятельности, от этих вредных мыслей увести, а он должен им помочь, т.е. он должен продолжать ходить на эти собрания, рассказывать. Так и продолжалось. Т.е. он ходил и он рассказывал, ну а потом всех посадили. Кстати, этого тоже посадили, только его довольно быстро выпустили. И этот говорит, что "да, это так и я этот крест несу уже 20 с лишним лет. Именно поэтому я ни в какую вашу диссидентскую деятельность не встреваю, не имею права. Не вхожу, не участвую в вашей диссидентской деятельности, как бы не имею морального права."

Ф.: Он друг Вашей группы?

- Нет, он друг моего знакомого. По-моему это был даже не кружок, а научный институт. Он там считался просто совесть этого отдела. Я лично того человека не знаю.

Ф.: Я брал также интервью у людей, которые не сочувствовали и говорили, что играли по законам той игры. Но, иногда создается впечатление, что они не просто боялись за свою карьеру, а тоже боялись, что под допросом не вытерпят. И самое худшее это было стать стукачем, чтобы избегать вот этой возможности они просто зло избегали.

- Да, конечно, это тоже было. А вообще люди старались по разным причинам. Ну, допустим, муж моей подкуги. Подруга моя берет у меня книжки, Солженицына и другие самиздат читает. Он очень нервничает и говорит: "Вообще уноси это все из дома." Причем он совсем неглупый человек, но он четко сформулировал: "Если вот это все знать, то нельзя спокойно жить. Лучше не знать." Вот также "Хронику" многие боялись читать, потому что там много было фактов и если этого не знать, то вроде бы и не знаешь. А уж когда знаешь, то становишься ответственным как бы, что ничего не делаешь. А многие боялись даже прикоснуться инстинктивно, особенно старшее поколение. Тут уже такой страх заложен. Это, скажем у поколения уровня моих родителей, родителей моих подруг, друзей. Многие просто - у них так глубоко это все сидит в крови, что они бояться... Иногда совершенно парадоксально. Вот прихожу я в дом к своей подруге, у нее мама уже пожилая, всю жизнь инженером проработала, еврейка она - убеждена, что советская власть им дала, евреям, очень многое, что она не получила бы образование... Она защищает советскую власть активно. И я говорю, что люди же при этой власти бояться. Она говорит: "Нет, вот я ничего не боюсь и никто не боиться. Людям, таким как я, бояться нечего." И тут же она видит какую-то книжку у моей подруги на столе, самиздат. Ей достаточно одной страницы посмотреть и она пугается и бледнеет.

Это, конечно, страшная эпоха. А вот как думали, как осозновали свою совесть, свою жизнь в разгар сталинского вот этого всего в 30-40-е годы, я думаю это очень трудно сейчас понять. По-крайней мере, когда я говорю с поколением своих детей, тем кому 40 лет, они не понимают - вот самые такие умные, образованные, которые все читали и все знают все книжки. Они не понимают, как это так, если человек - негодяй, либо он врет, ну не могли люди и верить и... Вот это все сочетание просто невозможно. Что искренне верить - нельзя было, а уж если он верит, то он совсем дурак, который ничего не видет, ничего не понимает. А если не верит, но участвует, тогда он негодяй, приспособленец. ВОт это соединение не укладывается. Это такое уже явление, которое психологи изучать еще будут.

Ф.: По Вашему это была Сатанинская система?

- Конечно, вот именно этим всем. Страшная система.

English translation

I am even more interested not in the period when we were acting, but earlier, which I also witnessed. I was in the Komsomol and believed in it. It is a complicated phenomenon – a combination of faith and fear. Contemporary youth don't understand it at all. It is the same as Orwell's "doublethink". Probably it was common Germany under the Nazis. Fortunately, it was not there for that long, but we had it for a long time, this very tortuous collision.

I am from a professorial background. My father was a corresponding member of the Academy of Sciences. He was much older than my mother and they had seven children. I was born in 1932 in Moscow. Our family was a non-standard one. My parents were thirty-two years apart; my father was of the same age as Stalin. So he was a witness to many things. By the time the Revolution happened he was already a mature engineer. He understood everything. Now I see how careful he was with us, he never talked about risky subjects with us. Instead, he talked about philosophy, about maths, about life, about everything else. But he didn't touch risky subjects, because I was a Komsomolets in school and believed in everything without any doubts. Although I saw a lot of things, a lot of lies, I couldn't generalise – there was not sufficient information. But my peers, who had faced it earlier because their parents were in prisons, learned much more and had seen life by that time, and they started to understand everything much earlier. I very gradually started to see something from 1956 onwards, after the 20th Conference. It was when all my negative observations from the past came together. I remember one funny episode – the battle for the Russian priority in science. It was around 1948. And our teacher of physics announced to us that from now on we had to say the Lens and Joel's Law instead of the Joel and Lens' Law, because Joel was British and Lens, though he was German, had been an academic in St Petersburg's Academy, so that's why his name had to go first. We thought it was really stupid, and we raised lots of noise, after which there was a great scandal. I was called to a Party gathering. My parents were called up and my father, who never visited my school and was far from it – a typical absent-minded professor – took it all very seriously. He even put on his best suit, which he would normally wear for a dissertation defence, and solemnly went to the gathering. I think it was 1948. Very gloomy. So my father saw the situation much better than I did. I couldn't understand why it was such a hassle. Afterwards he told me sombrely that I was accused of being an agent of the BBC, though I never was an agent of anything, of course. So for me it was all like a farce.

Ph.: Did you listen to the BBC?

T.: Of course, I did. I used to listen to the BBC and told my father, because he was hard of hearing then and also they tried to stun the broadcasting. Later I listened to [Radio] Liberty.

My parents were never in prison, but my grandparents were. Father and mother of my mother were in camps during Stalin's time. It was known, but we couldn't generalise about it. Of course, we knew that our granddad was a great person. He was a professor of Roman law and, of course, he was not a state enemy. But still maybe there were some mistakes made, who knows. We did not understand the extent. It was a very gradual thing. Before the 20th Congress I understood very little. My parents were never Party members.

Ph.: Did you have your own perception of camp culture?

T.: No, I didn't. It was a very distant world for me. I knew that granddad was sent some parcels, that sometimes it was very difficult to make those parcels and send them out. I don't know, maybe I used to think it was some sort of mistake or misunderstanding.

Ph.: What was your major in the university?

T.: I graduated from the mathematics faculty in 1954. Till 1956 I lived in the Urals, teaching for 2 years. Then I came back to Moscow with my husband and worked for twenty years as a programmer. Then I was put in prison. And then I was a teacher. So I've got three professions: first, I was a programmer, then – a dissident editing the "Chronicle" (an editor of the "Chronicle") – it was my main occupation – and then a teacher. Three professions.

The issue you are interested in is a very difficult one, I think. "How come people believed and were at the same time afraid?" I don't know how to approach this topic.

Ph.: What can you tell from you own experience of it? Because you also used to believe, did you have any fear of the system?

T.: I didn't have any fear, but at the same time I understood that there were some things one shouldn't talk about in wider company. It was simple ... I can't even explain. But everyone understood that it was better not to make risky anecdotes or jokes, or critical statements public. That is why for me when a movement started during Khrushchev's Thaw in the 60's, it was like a totally different era, there was an absolutely different air even. It became possible to express yourself freely and, of course, it meant a great deal.

Ph.: Can you remember some critical moments for your conscience during those years? Maybe you had to face some moral choices? Was it a long process?

T.: I'm afraid, I cannot remember. but I think it was a long process. For instance, when I was working in the system of the Academy of Sciences in the 60's, a scholar's or researcher's salary was very small and I was often invited to lecture in the "post-box" – that's how we called closed military institutes – "a post-box number such and such". So you would say, "I went to work in the post-box." They had a much better salary there. I was always indecisive, though by that time I had already had three kids. But something was always stopping me from working there – there is no need to get involved in that kind of secrecy, nothing good will come out of it. Nevertheless, these things were trifles. I kept rejecting it and never worked there in the end.

Ph.: Was it a decision relating to conscience? Was it based on some principles, or it was intuitive?

T.: There is always something bad about secrets. Everything bad is done in the darkness. But I didn't formulate it very clearly.

Ph.: So how did you get into dissident circles? Was it through some friends or by accident?

T.: Maybe it happened by accident, though it was logical as many of my friends found themselves in the opposition. At that time, they were not even dissidents. In the 60's there was such a blossoming of everything: books were being published, a new magazine *Novy Mir* came out which everyone was reading. They (my friends) started to reflect upon the whole reality quite actively. Then samizdat books [self-published] appeared - that was also like fresh air. I remember the first time I read Solzhenitsyn's *Cancer Ward*. Somebody had a copy, which was not even bound, just separate pages. And so I took my friend's invitation to come to its reading at someone else's place. They were reading page by page on the sofa in a row. I came back the next day to continue on page 125 and I had to look for a place to sit so that it would be my page.

They started to bind books sometime later. Initially no one was bookbinding, because you could pass on pages to read in parts. And it was such a special time for all of us – waiting for something new to happen and feeling free. It was in the mid 60's. By the 70's I had become involved to the full.

Apart from my friends, I also had a husband who was in the demonstration of August 1968. And I was in with all those things. We knew very well all those things, for instance, about the Velvet Spring, especially what was happening before the tanks, because our friends from Prague and Bratislava were sending us newspapers – for example, the Prague paper "2000 Words". So they always kept us updated. He (my husband) corresponded with some friends from Slovakia and then, when they brought in the tanks, together with Larisa Bogoraz and Litvinov he took part in the demonstration of [August] 25th. And here I found myself at the centre of things. I didn't know Litvinov before, for instance, but I had known Bogoraz a bit. I was at the trial as a witness. My sister was there and my mother, and we taped all the proceedings. Then I had to de-code it all, edit and publish. So I was right at the centre of all the people, with whom we were doing all these things. I got to know Gorbanevskaya then. I saw her for the first time on the Square when she came together with her child in a pushchair. And this way I gradually got to know a whole circle of friends, who were ready to do something. We were finding some sort of personal liberation in all this. I also got to know Kovalev at that time in 1968, and Alexander Pavlovich Lavut.

Ph.: What did inner freedom mean to you personally?

T.: It meant to be absolutely open about what I thought. As I had already announced myself in this quality of being a human, I had nothing to fear. Though there was a problem, related to your theme. If I talk about something then I draw others into this world, but this world is dangerous to them – you can be arrested or fired from your work, etc. So you have to be responsible for the other person. This way for enemies or people with the opposite views is different – I can talk about anything to them freely now. But for those closer or younger people, you have to be careful, like my father protected me from some information that would wind me up. I would have definitely been in prison 30 years earlier, if my father had told me everything he knew and understood.

This problem of being responsible for others, especially the young, emerged. I've got a sister much younger than me. Once when we were on a camping trip to the forest with her class, they asked me different questions. And so this problem came up – can I say everything to these children the way I think and understand? They were around 15-16 years old – still very young. And there were real problems because of it sometimes. So it is one of the aspects of conscience.

Ph.: Maybe you have got a special conscience?

T.: I wouldn't say so. I have an ordinary conscience.

Ph.: But where did it come from? Why was it you and not somebody else?

T.: It was important to everyone because people live in society. Everyone is surrounded by family, colleagues, etc. You get the "krugovaya poruka" [interdependence] – it's the most acute issue. Probably you know the story of how Sergey Kovalev was thrown out of the university. It was a turning point for me, I think it might be interesting for you. So, there was a laboratory of Biology and Mathematics, where Gelfant – a famous mathematician – was a leader. It was a very powerful laboratory with colleagues being friends and adherents. (Kovalev himself told me about it all.) Both Sergey Adamovich Kovalev and his friend Alexander Pavlovich Lavut were in the lab's faculty. Lavut was a mathematician and Kovalev was a biologist. In spring 1969 they decided to join the Initiative Group for the Defence of Human Rights. Then there was some noise up there at the top and they announced that there would be a special faculty meeting of the Party to discuss them and to make a decision to throw them out. There was a way out for them – if they left of their own accord, it would be said that they would not be formally thrown

out. Kovalev was pondering what to do. They were ready to stand for their activities and to explain why they had joined the Initiative Group to the Party discussion, but this would have had some negative repercussions for the whole laboratory. So, various people came up to him (Kovalev) one by one – his friends, adherents –, to ask him, "what kind of position are you putting us in. If we are on your side, then they would destroy the laboratory, it is obvious. They would make Gilfant redundant and the lab would be closed down. And then some of us would lose their dissertation themes, others would lose the promised flat. But the main thing is that the whole lab would be closed down if we support you. But if we don't, then we would be scoundrels ourselves. So why do you put us in front of such a choice?" That's what "krugovaya poruka" means in Russian. It's when all answer for another. When others suffer because of you and you know it – that is mutual dependence, "krugovaya porukha". It was the same thing when we had agricultural communities [sel'khozy] in Russia, where the whole community was responsible for somebody.

Ph.: Typical communist approach ...

T.: So they kept coming up to him and saying, "You are putting us in a difficult situation: either we are scoundrels or the laboratory will disintegrate." They decided to leave of their own accord. Before Gelfant talked to them – he was considered to be the first mathematician in the world, a very famous scientist. He also told them, "What kind of position are you putting me in? My position in this laboratory is also unstable and, what is more, it is not only me who will suffer, but also Petrovsky, the Dean." Thus, everyone would suffer because of Kovalev. They wrote an application and came to me for some advice. I said that they had done wrong because you needed to put people in a choice sometimes. They decided to take the application back. I remember going to a solicitor the next Saturday to find out whether it was still possible to withdraw the application. I was told it was possible if the resolution was not signed and issued by the director. However, when they came to work on Monday morning, the resolution was already put up and it was too late. It was an interesting story for me. It touched me deeply, because it was indeed the problem of everyone. So it is that a person doesn't live in a vacuum, but there is always someone he/she is worried about. So, what can you do in this situation – either to follow your conscience or, also, to follow your conscience, but out of worrying about your nearest and dearest?

Ph.: Have you been in these kinds of situations yourself with your kids, for instance?

T.: I felt that they would not touch my children. My son was thrown out of the institute. It was partly due to him because he missed many lectures at the military preparation faculty. A friend of mine, being close to the Dean, tried to influence the situation. As soon as the Dean heard my son's name, it was turned down in connection with me.

Ph.: Why did you think that it was necessary to put people in front of a choice sometimes?

T.: Because the phenomena of "krugovaia porukki" (interdependence) and "zalozhnichestvo" [hostage-taking] were the main methods, previously even more cruel. I was always disgusted by it. There were some occasions. Petr Semenovich Grigorenko was in a psychiatric hospital, Natasha Gorbanevskaya was in psychiatric hospital in Kazan'. It was suggested to Larisa Bogoraz that if she asked for pardon for herself, then they would be released. It was absolutely illegal –

why should she have to ask for pardon for herself? How is that related to them? The KGB used these methods constantly.

We had a special letter of the Initiative Group on "zalozhnichestvo" [hostage by betrayal]. I've got it somewhere, but it will take time to find it in the archives now. It should be in the collection, "The Letters of the Initiative Group". It was at the end of 1971 – beginning of 1972

when Petr Yakir and Victor Krasin were in prison. The Chronicle did not appear for half a year. Why? They never contacted my friends or me directly. Instead they passed on their messages through our close friends that if a single issue of the Chronicle appeared again, then such and such a person would be arrested, irrespective of who edited it. For instance, there was a threat to Jacobson of this kind. But there were many others. For instance, if you did this or, vice versa, if you did not do this then maybe we would release someone or transfer someone from a psychiatric clinic in prison to psychiatric hospital. This is a real problem when you have to decide whether to collaborate with them or not. Sometimes it was even more crucial than this – it was a matter of life and death, how, for instance, it was in the case of Marchenko. Sometimes it was a matter of putting someone in prison, sometimes about losing a job – but these are trivial little things. However, one had to decide to collaborate or to compromise with them. My view on this has always been that you should never do it. Of course, when it is a matter of life and death, the person himself/herself had to decide. It was an appalling thing to participate in. We were faced with the decision – to publish the Chronicle and then someone else would be put in jail. These methods so aggravated me that I would have nothing to do with them [KGB, the system]. I never took part in any trial or process. I never signed any paper.

Ph.: I believe that when a person finds a compromise something is changed in that person. Maybe you witnessed some change in those who did so? Why did you make come to these conclusions?

T.: Of course, I saw what happened to Yakir and Krasin. And there were others. It was also the matter of self-deception. One tried to find an explanation to justify what had already been done. Of course, I saw many such situations. But I think it is not because of seeing it happen to others that I decided not to. It has always been appalling to me.

Ph.: Alexander Ginzburg told me in an interview that many dissidents had an inner struggle with fear. But to many it was a natural process and the whole system was appalling to them.

T.: I think so. Even during the Gorbachev era in 1987 when they started to release political prisoners, they still kept their methods. They offered everyone in the camps or exile to apply for pardon. We had a local prosecutor and a regional one. The regional prosecutor had come to me in my exile. The local one gave him his office, his secretary brought some tea and biscuits. The regional prosecutor started with a soft tone, “Tatiana Mikhaylovna, haven’t you had enough of being here? What do you think of Gorbachev’s reforms?” “Well”, I replied. “Could you write that “I am asking you to release me from my exile...” You haven’t abandoned your views, have you?” I said, “No, I haven’t.” “Then write that “I have remained committed to my views. I do not think I have violated the law in some way or another... I am asking you to release me from the exile.”

It was so appalling to me and so I said, “You have done all these, not me. Therefore you yourselves put right your mistake. I do not want to take part in it in any way, in any place.” And he went back. Ten days later he returned and started all over again. He was pleading me to apply for about an hour and a half. Then he said, “Very well, then we’ll have to write a protocol that you have rejected to be pardoned.” That only appeared in the second conversation. I refused. Then about a year later there was an Act on remission issued in December any way. Neither my relatives, nor I wrote anything. The Supreme Soviet issued the decree of pardon. Elena Sannikova and I were the last to be pardoned. I said I did not want their pardon and that I would stay there. There were 10 more months left for me. But they forced me to take my passport any way to get my salary. I stayed there for half a year longer and then came back to Moscow because of some family circumstances. So I didn’t complete 2 months of my exile. Even with such trifles. They couldn’t release us without putting us through these humiliations.

In Izvestya it was announced that a small group of dissidents were pardoned. I am glad I didn't sign anything then. It was so appalling.

Ph.: Did you have some discussions about these moral issues within the Initiative Group? Can you give some examples how it used to be? Could you please tell me about the whole moral culture of the group?

T.: Of course, we used to discuss these issues at someone's kitchen table. For instance, if we were given some fresh and acute information we would gather together. For example, somebody found out that such and such, whom I knew had nothing to do with the Chronicle at that time, would be put in prison. So what should we do? Should we publish it or not? We discussed it together. In fact, we were all friends. Our lifestyle brought us close to each other. Also there few people in the group. Initially it started off with 15 people. But then many were arrested, especially non-Muscovites in the first place. Thus there were only Muscovites left, who also were getting fewer and fewer as they gradually were being arrested. Natasha Gorbanevskaya was arrested in 1969, Yakir was arrested in 1972. So, many of us were arrested and our group became very tight.

Ph.: Did you go to the theatre together as friends?

T.: No, we didn't have time for it. We even stopped going on camping trips to the forest. In the 70s there was such a tense life that we didn't even have time to think of a short break at all.

Ph.: Whose place did you meet most often at? Whose kitchen was it?

T.: There were a number of homes where a lot of people would meet to exchange books, words, and information ... There were about 10-15 such places, I think. In regard to the *Chronicle* we tried to find places nobody knew about so that the authorities would not come there. In this context there was a huge discussion over "zalozhnichestvo" [hostage by betrayal] and conscience. After Yakir's arrest the Chronicle was not published for half a year. In 1974 in spring, four numbers came out at the same time, covering the time we missed out. There was a constant threat of somebody being arrested if we went ahead with publishing the Chronicle. So it remained the main topic of our discussions. We decided that we couldn't buy it any longer and so we made a few issues at once, using all the stored-up material. And then they were delivering to all those meeting places, when I was already arrested.

Ph.: When was it?

T.: The first time I was arrested in 1979 for four years and then exiled for five in Kazakhstan. In 1983 I was transferred to the exile, and in 1988 I was supposed to be released, but I was released two months earlier.

I remember there was a huge reaction. And before that Kovalev, Khodorovich and I were declared responsible for the distribution of the Chronicle. We didn't consider it to be an anonymous publication or illegal one. We did not take responsibility for editing and compiling it. It had been decided since Natasha's time that we could not declare ourselves as editors: firstly, because there were many people taking part in different stages of production –collecting information, editing and, finally, publishing it. So we did not want to emphasise our roles. Secondly, if, for instance, you were arrested then a new one comes in and should declare oneself as an editor to take on your role. So we believed it would be a good principle, and Natasha Gorbanevskaya also thought so, that the Chronicle was published anonymously. At the same time, we believed it was not an anonymous publication as we were circulating it openly. However, it was produced discretely, otherwise none of the issues would have been published. That's why we used different tricks. For instance, I left home for three-four days. It was much

easier to do it at one go, than to carry all the papers around. My children answered the phone, saying that “our Mom would be back in the evening” and they would repeat every day, while I was away. Otherwise, I would have been followed.

Ph.: I have read Bogoraz’s speech of 1968 where she says “you have to tell the truth even if it is not effective”. It was a very powerful speech. Gorbanevskaya has told me that there were various demonstrations when people tried to undermine the work of the organisers by saying that would not be effective, etc. I have got an impression that there was some disagreement at that time on what to do and the moral aspects followed it. Do you recall this?

T.: Of course, I do. First of all, I remember the conversation on the eve of the demonstration in the house of Yakir. There were different opinions about effectiveness, as you say. Also the Czech events were just evolving and there were many talks about the invasion. I remember Marchenko’s letter, written before the invasion, about the pressing situation in Czechoslovakia, that our Soviet authorities were trying to crush socialism with a human face. It was an impressive letter.

Then there was the invasion. Immediately after the invasion, there were meetings throughout the institutes, factories, everywhere, in favour of the invasion. It was a very interesting situation. My husband worked in the Institute of the Russian language. There were a lot of dissident-minded people there. They took part in different “open” letters of defence during the trials of Sinyavsky and Daniel. They were called “podpisantu” [signatories]. Eventually they were all thrown out of the institute. But they were all scientists, doctors and professors. There was a whole procedure for firing them. So there was this meeting in the institute where my husband worked.

Ph.: What was your husband’s name?

T.: Babitsky Konstantin. He was a scientist in the Institute of the Russian language. I had a free day, so I went to their meeting. Everyone had to vote in favour of the invasion, but in reality three-four were against, and three abstained in the vote, the others in favour were about 100. I don’t remember exactly. See, how they tested people’s conscience? Of those 80-100 who voted in favour, only about 15 were convinced communists, who were genuinely in favour, all the rest were simply forced. Those who voted against had to explain their reasons. There was one professor, Lenya Kosatkin, a participant in WWII, who had to explain the reasons. He said that it was such a shame to see what our army was doing now. People tried to persuade each other before the meeting. A lot of people simply did not come to work. Not to appear was a quite common tactic. I know that when the academics had to sign the letter against Sakharov, several people turned out to be ill, or something else. I was told that one scientist had to fly to Paris for a Congress, so he had to take a train to leave earlier.

You know, even in such trivial things like elections, which were useless anyway, people were afraid not to vote, because in Stalin’s time they would have been arrested for it, whereas now they wouldn’t be arrested, but they would have some problems. Can you imagine how it used to be in 1948-49 then? There were some young agitators who went from door to door until they would get a 99% participation or 100%. Everyone had to participate. I remember I had a friend, a history student, who was one of the agitators. And we were planning to go out that Sunday, but it failed because he had to spend the whole day chasing one alcoholic, who didn’t vote. His neighbours or relatives told my friend that he went to a wedding in another village. So, around midnight a friend of mine brought this drunken man back home. See, it was so compulsory that everyone had to vote. Although the majority did not see any sense in voting they still went to vote so that they would not have any trouble. I stopped doing that in 1956

because it was a fake and senseless thing to do. The first time I did not go to vote people kept coming for the whole day to try and persuade me. In the beginning they sent young girls and boys to do it, then somebody of a senior rank. Horrible. Then my own relatives – my mother-in-law – started to persuade me herself, “Listen, it doesn’t cost you anything. Go and vote. You’ve got two kids – what will happen to them?” There was pressure from all sides.

Ph.: Were you that stubborn or it was after all those conversations?

T.: I don’t like lying, it is very disgusting. And that was a terrible lie, a fake. Such a waste of funds and human resources. I was disgusted by all this.

Ph.: Was there also a religious element at the time?

T.: Not in this situation, although I am a believer. I think that it is a religious element when one feels that any misdeed, any sin will have consequences for you in the future. But lying is uncomfortable to believers and non-believers alike. There were many conversations about how to behave oneself during interrogations. Whether it is fine to lie to people who lie to us themselves or not? But because you could not tell the truth, it was simply better not to talk to them at all. In my view it was a very simple solution. We had many debates over this issue. There were different points of view. Some of us believed it was pointless to be that stubborn, but one could talk about something that would not harm others. It never worked that way. You thought it wouldn’t hurt anyone, but then it turned out that your words were misused in many ways – they twisted your words absolutely ruthlessly, plucked them out from your context and then quoted.

Ph.: Was this silent tactic common or it depended on a person?

T.: No, it was not a common tactic, though it was widely used. But it varied. For instance, some of my friends and I used it, but Sergey Adamovich Kovalev – now a very respected dissident – approached it from a scientist’s point of view. He analysed very carefully all the accusations, given to him, and facts taken from the Chronicle issues. Then he put it all together, which looked more like his scientific research, and got very interesting results. It turned out that there were 13 unproven cases and 4 with fault, which we published. It was due to a huge inflow of material coming to us from the whole USSR. We simply didn’t have time to double-check the information. Especially it was easy to make mistakes with names. The biggest mistake we published – later we called it a “mistake of a century” – was when we wrote about somebody sitting in the camp, that he used to be a chairman of a collective farm, a Lithuanian. Later it turned out that he killed the chairman of a collective farm. So we decided to publish the correction in the next issue. I must say that the Chronicle was not brought in as an accusation during the case against Kovalev.

Ph.: Were there any important issues connected with conscience when you were in prison?

T.: No. When you are already in prison – it’s an easy position. There is no KGB, no responsibility for others – everything is very simple. They, the KGB didn’t even visit us.

Ph.: I’ve got the impression from reading different memoirs that the time in prison was sometimes a pivotal spiritual experience. Can you talk about this?

T.: Not really. Maybe only because of meeting good people, whom I wouldn't have met otherwise. I didn’t know Ratushinskaya, and I got to know her, or Yadviga Belyauskimi - a Lithuanian Catholic activist. I met many people whom I had never met before. There were four true Orthodox Christians – we called them “grandmothers” – who rejected the Soviet church as they thought that the Soviet authority was a Satanic power and if the church was officially supporting it then they were together. Two of them had been there for 20 years, the rest – for

30 years. They were already quite old then. They are gone now. They were simple women, without any education, but very convinced and strong. They were telling us how they used to sit [spend time in prison] during the Stalin's time. They were elderly so they didn't have to work in the camp. They were sitting and praying all the time. But during Stalin's time they were forced to work, but they refused –you can't work for this government. So they were taken to detention room all the time where they got cold to their bones. Once the ten-year term was over, they refused to pick up their passports. At that time there was a very strict passport regime. If you didn't have a passport, then they would arrest you. These women never took their passports back or even notes of their release.

Once I had a funny conversation with one of them. She told me that after being released she went to work as a nanny to a guard's officer's child. So he asked her, "You said you couldn't work for the Soviet authorities and that's why you didn't go to work in a kindergarten. But it was fine for you to go and work as a nanny to a guard officer's child?" "You can work for people," she said. "But you can't work for this authority. If you work in a kindergarten then you would receive money from the Soviet government, but you can't do it." Also, she used to accuse Lenin a lot and I asked her why not Stalin. "Stalin is a wicked man, but Lenin is Satan. He tempted the Good with Evil."

Of course, I didn't encounter such people while working on the Chronicle. Although many religious people came to the Chronicle, they lived in society, had children, families and they were fighting for justice. But before I didn't have a chance of meeting those who rejected everything in society, like those old women.

Ph.: Were there any books from Russian literature and from samizdat that influenced you?

T.: Yes, of course. In the 60-s we searched for the books we wanted. Everyone was reading the prose of Platonov in a samizdat version. There were many philosophical things at that time. I read Vekhi only in 1963-64. Solzhenitsyn was also a strong influence.

Concerning the conscience topic there is one more episode I would like to tell you about, without naming people, though. Once one of my friends came up to me and said, "I've got a friend whom I've known for over 20 years. He is as clear as a crystal, he is our conscience. Recently I was told that he used to be an informer (stukach), that when he was young during Stalin's time, he used to give information about a group of young people, who got all arrested in the end. Moreover, three of them were shot. They were only 18-year-old boys. The rest were given a long sentence. And I can't even grasp this idea, that my friend could do it..." So I said, "Why don't you go and ask him? What else can you do?" And he found out from his friend that it was true. But he was not an informer by conviction. He was a member of that group himself, where they discussed philosophical issues, pressure on criticism, etc. Then at one point the government security got interested in them. By that time, they had some information, but not everything. This guy was called in and was told that they knew everything about this group and they didn't have any intention to put them in prison. The only thing they wanted was to try and distract those young men from any bad and wrong ideas and that they wanted his help in it. So that guy was supposed to continue coming to all the meetings of the group and then to tell the security people. It went on like this for a while and then everyone was arrested, even he, though he was released soon afterwards. He said to my friend, "Yes, it is true. And I have been carrying this Cross for over 20 years. And for that reason I do not have the moral right to enter into any of your dissident activities."

The husband of my friend said on discovering a Solzhenitsyn in the house, "If I know all that it will be impossible to have a peaceful life. So it is better not to know." For the same reason

some people were afraid of reading the Chronicle because there were many facts there. And if you know them then you become responsible for doing nothing. In the older generation there was a deep-rooted fear. Sometimes quite paradoxically. Once I came to my friend's place where she lived together with her mother, who worked her whole life as an engineer. Being Jewish, she was convinced that the Soviet authority had given the Jews a lot. If it were not for them, she wouldn't have got the education. So she was defending the Soviet authorities very strongly. So I asked her, "Why then are people afraid of these authorities?" She replied, "I am not afraid of anything, for instance. People like me don't have to be afraid of anything." But then she saw a samizdat book on my friend's table and she became afraid and went pale.

Of course, it is a horrific epoch. I think it is very difficult to analyse how people were thinking and how they were aware of their conscience during the hey-day of the Stalin's 30s-40s. At least, when I talk to my children's generation, those who are 40 years old now, they don't understand – and they are very sophisticated and well-educated people, who have read many books and know much. They don't understand how come, if a person is a scoundrel, or if he lies, how can he believe at the same time. The combination is hard to comprehend, almost impossible. I think psychologists will be researching this phenomenon for a long time.

Ph.; Do you think it was the satanic system?

T.: Of course, it was a satanic system. A dreadful system.